

Культура, 2000, 1-7 июня, с. 1

“...Я за все один отвечаю Богу”

А.С.Пушкин. “Борис Годунов”

Вчера Москва простилась с Олегом Ефремовым

Не стало Олега Ефремова. Ушел из жизни художник, с именем которого связана целая эпоха отечественного театра. Он был душой и голосом своего поколения, он выразил его высшие взлеты и падения, надежды и разочарования. Теперь уже не символически, а просто как непреложный факт можно сказать: в конце мая 2000 года эпоха русского советского театра, которая началась после Сталина, завершилась.

Олег Николаевич не очень любил, когда артиста или режиссера определяют принадлежностью к тому или иному поколению. Поколение — горизонтальный срез, а есть еще и вертикальный, когда человек растет и движется вместе со своим временем. Ефремов начал это движение в середине 50-х, создав первый свободный театр еще несвободной России под названием “Современник”. Тот театр питался из легендарных источников раннего Художественного театра, в школе которого Ефремов сформировался. Искусство Художественного театра он воспринимал совершенно особым образом. Можно сказать, что это направление русской сцены нашло в Ефремове одного из самых одаренных, мощных и бескомпромиссных своих защитников. В студенческие годы он кровью расписался в верности учению Станиславского. Романтический, в духе времени, жест оказался неслучайным. Всю свою жизнь он действительно посвятил тому, чтобы возродить искусство МХАТа. Образ театра как веселого братского содружества талантливых людей, имеющих что-то за душой, преследовал его как видение. Беспрерывно реформируя Художественный театр, он и в самые последние свои дни вынашивал план очередной перестройки. Вновь и вновь он вспоминал первоначальный образ раннего МХТ. Он мечтал о театре, в котором не будет никаких насильственных соединений художников, где искусство актера будет поставлено на огромную высоту. Он тосковал по театру, который мог бы стать живым чувствительным своей страны, своего народа. Он звал всех нас к этому идеалу. Ему не хватало жизни, чтобы создать новый Художественный театр.

Его чувство России было сокровенным, лишенным какой бы то ни было позы. За всю жизнь он не произнес, кажется, ни одной громкой официозной или патриотической фразы. Но каждый, кто с ним общался, чувствовал его огромный социальный заряд. Он сострадал всему тому, что переживала и переживает наша страна, он сумел выразить эти свои чувства в ярчайших сценических и кинематографических созданиях. “Если я честный, я должен” — фраза розовского героя из “Вечно живых”, которого Ефремов сыграл на заре “Современника”, пролила насквозь его собственную жизнь и стала своего рода паролем целого поколения.

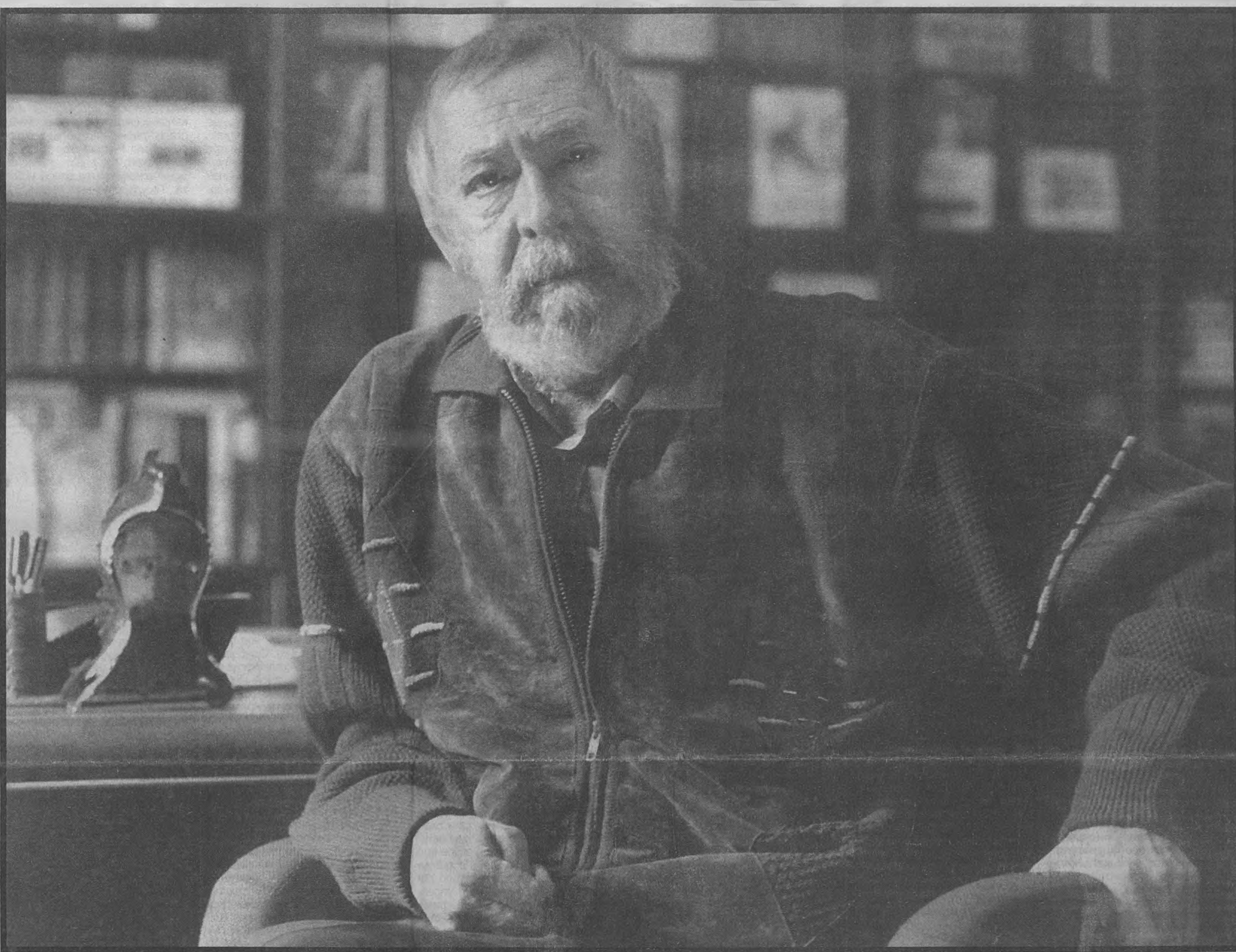
Он поставил на сцене МХАТа все крупные пьесы Чехова. Чем дальше, тем больше он ощущал Чехова самым важным своим автором. Его последней работой стали “Три сестры”, которые он поставил в семейный канун столетия МХТ. Глубочайшие темы жизни и смерти открылись в этой работе, которую с полным правом мы воспринимаем теперь как художественное завещание Олега Ефремова. В этом спектакле с какой-то счастливой полнотой сошлись все его пожизненные темы, все его человеческие и художественные пристрастия. Жизнь открывалась как беспрерывно становящаяся драма, которую он воспринимал с какой-то необыкновенной примиряющей объективностью, как смену времен года.

Он тяжело и долго болел, а наш театр испытывал огромные трудности. Ему и театру подвизывали некоторые освободившие от совести журналисты. Он умел встать над суетой, никогда не унижался до ответа мелким пройдохам и театральным провокаторам. Кодекс его театрального поведения был уникально высок, как будто и здесь он наследовал герою своей театральной юности. “Если я честный, я должен...”. Его авторитет в театральной среде России был непреклонным. С его уходом возникла опасная пустота в нашей театральной жизни. Эту пустоту ничем и никем нельзя было заполнить. В последние месяцы своей жизни он ставил “Сирано де Бержерак”, одну из самых солнечных пьес мирового репертуара. Казалось, что репетиции дают его легким необходимым кислород, которого ему так не доставало в жизни. Он ушел так, как уходят истинные художники. Он репетировал до самого последнего дня, до самой последней своей минуты.

Мы не забудем его никогда. Коллектив МХАТа имени А.П.Чехова

Если бы тебя посадили, я бы носил тебе передачи

Боже, Боже, что же сказать? Сейчас все всё скажут и без меня, и всё будет сказано правильно. Я прожил жизнь рядом с ним.



Фот. Д. КОРОБЕЙНИКОВА

В трудные времена Олег сказал мне: “Если тебя посадят, я буду носить тебе передачи. Если меня посадят, ты будешь носить мне передачи”.

Он — друг. Многим. Своим друзьям. Своим актерам. Если идти дальше — людям. Он — СВОЙ в сумятице человеческой жизни со всеми ее уродствами и взлетами. В большом телефильме он играл человека, который по мере сил сочиняет стихи. Ефремов так читал их, что шахтер из Донецка попросил в письме, чтобы Олег Николаевич прислал ему свои стихи, а то жена его не понимает. Но и Солженицын он был близок, как этому шахтеру из Донецка. Художник пронзительной ежедневной многолетней работы ума. Поэтому он был дорог и деятелям высокой науки, и преразумным одержимым правозащитникам.

Любимыми его строчками у Пастернака были: “Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, В сердечной смуте”.

Он — друг. Многим. Своим друзьям. Своим актерам. Если идти дальше — людям.

Александр ВОЛОДИН

Мы остались, а его больше нет

Я не знаю, с чего начать. Смерть ставит на места многие вещи, и, самое главное, — она выявляет то, что было в этом человеке, что называлось, поверь восприятию, на глубине. Были и есть люди, которые его боготворили, которые его очень любили, но очень любили, завидовали ему, были и есть люди, которые хотели все время что-то ему досказывать, что-то с ним дорываться, потому что он причинил много обид — чаще всего того не желая, в силу так, а не иначе сложившихся обстоятельств. Я уверен, что его смерть примирит всех. Потому что мы, такие разные, любящие и не любящие, остались, а его больше нет. И все сойдется на том, что ушел от нас человек, в жизни которого было только одно — театр. Он был одинок. Рядом с ним не было никого из по-настоящему близких людей. Он любил жизнь, он любил женщин, любил все, что составляло настоящее, полноценное, наполненное бытие, но главным, а вернее, единственным все равно оставался только театр. И потому он совершенно искренне не понимал, как может человек заниматься чем-то еще — семьей, рыбалкой, Бог

знает чем? Как может человек воспринимать жизнь просто как вкусность? Ефремов упрекал меня в свое время, что я не стал “кирпичиком МХАТа”, не отдавал всего себя строительству того театра, который он кропотливо строил. Но я — другой человек. А он был таким.

Такова была генетика Ефремова, все общение, все погружение в жизнь происходило у него исключительно через театр. Таким был его кровоток. Ушел человек, которому я могу завидовать, как завидую иногда математику или виртуозу-пианисту, — я знаю, что сам никогда не смогу быть таким, но у меня вызывает восхищение умение человека вот так проявляться через цифры или музыку.

Те, кто знал мои с Ефремовым отношения, понимают, что мы всегда были разными, но именно это нас роднило. Мы сошлись, как соросы очень близкие люди, и мириться, как могут мириться самые родные друг другу. У него было какое-то завораживающее обаяние, истинно мужское — то, под которое в равной степени подпадают и женщины, и мужчины. Я помню, когда мне надо было с ним не просто пообщаться, а что-то выяснить, я предпочитал не идти к нему, а писать письма. Именно потому, что боялся его переубеждающего, сильно воздействующего обаяния. Это было какое-то совершенно особое влияние — с обманкой. Думаю, именно на эту вот обманку, на его кажущуюся простоту и “покупальность” нередко чиновники. Ведь Ефремову страшно завидовали многие и не любили его за то, что ему дозволялось в наши застойные времена недозволявшееся другим. Он умел пробить спектакль через самых железобетонных чиновников и начальников, он возглавлял главный театр страны, он был честен и открыт тогда, когда это возбранялось категорически.

Да, Ефремов казался очень простым, но за этой простотой скрывались такие глубины! Он досконально знал историю Художественного театра, читал невероятно много, я всегда поражался, как, когда он успеваешь прочитать все эти пьесы, романы, которые громоздились на его письменном столе?

И еще меня всегда поражали его отношения с критикой. Господи, сколько же его клевали, сколько мучили, а Ефремов всегда умел (не для меня это умение!) не реагировать. Это остается для меня фантастической загадкой его личности. Помню, как вскоре после смерти Евгения Евстигнеева один критик, совершенно уничтоживший его работу в “Игроках”, написал о том,

что это была по-своему интересная роль. Думаю, сейчас многие из тех, кто клевал Николаевича, тоже спохватятся и начнут задним числом переосмысливать сделанное им. В том числе и юбилей МХАТа вспомнят, который разнесли на все лады.

Да, может быть, 100-летие Художественного театра прошло не совсем так, как хотелось многим. Но Ефремов хотел сделать его именно таким и имел на это право. Право личности, которых остается у нас все меньше и меньше. С уходом Олега Николаевича — особенно.

Александр КАЛЯГИН

Сизиф устал

История Олега Ефремова — это история его одиночества. Сразу и не поймешь, не поверишь — весь век толпились вокруг, не пробиться, друзья (или те, кто считался друзьями), единомышленники и спутники, о суетных людях и поклонниках нечего даже и говорить. С утра до утра на виду, на людях — участие публичного человека. Но это ничего не меняло, сколько помню его — всегда одинок.

Порой казалось, что он намеренно возводит меж собой и другими эту незримую прочную стенку — иначе себя не сохраняешь, растащат, расклюют по кусочкам. Все рвались одарить его дружбой и все хотели ответа, отклика, хотели ощутить себя родственными, необходимыми, пусть хоть нужными. Это желание сплошь и рядом было естественным и понятным, но возникавшее чувство близости часто оказывалось обманчивым — его сокрушительное обаяние иной раз рождало такую иллюзию.

Воздействие своей притягательности он понимал и, надо признать, пользовался ею искусно, однако не для себя — для дела. Ибо едва ли не с первых шагов он осознал свое назначение.

Откуда, по чьей верховной воле в безвестном молодом человеке явилась, взошла, а там и созрела непобедимая убежденность, что он и лишь он способен создать новый, отличный от прочих театр? Кто ведает, тайна сия велика, но он и впрямь был миссионером, при этом не самопровозглашенным, но истинным человеком судьбы, заложником своего призвания. В этом разгадка его одиночества, миссионер всегда одинок.

Он сделал драматический выбор. С юности надо было сопротивляться — обстоятельствам, стереотипам, системе, поставившей его безликость и тупость. Каково ему

было дышать и действовать в мертвой незыблемой иерархии, ему, с его буйной гасконской молодостью? Но этой могучей немереной силищи хватило на весь испытательный срок, на семижильный бессонный труд, на страсть, на есенинские загогули.

Его артистизм был высшей пробы, ему дано было удивлять, не прибегая к перевоплощению, — настолько была богата личность. И мы от нее не уставали, всегда открывали еще непостижимое. Чувствовал он нашу любовь? Не знаю. Он оставался один.

Этот веселый и вольный дух, который обрел себя на служение, на вечный искус, на тяжкий крест, на каждодневное подвижничество — сначала с азартом и куражом, потом с изнеможением, с мукой тащивший в гору сизифов камень, — был обречен однажды рухнуть, и эта мощь имела предел.

Последний раз я видел его на громком мхатовском торжестве, безрадостном суматошном празднестве. Потом — уже только на телеэкране — безмерно уставшего, редковолосого, с ключьями пепельной бороды на высохшем, бесцельном лице — что ты с ним сделала, чертова жизнь?

Можно было только догадываться, как его вычерпали и лидерство, и изнурительное отцовство, и эта пустыня по вечерам. И все-таки гений Сопротивления еще не сдавался, он снова вспенивал когда-то дарованную природой солнечную гасконскую кровь, не веря, что она иссякает, — он репетировал “Сирано”. Но воздуха уже не осталось, история одиночества кончилась.

...Все время вижу его молодым. Вот он стоит передо мною — неукротимый, победоносный, готовый взять приступом этот мир, пройти босиком по горячей почве. Но мне уже не сказать всего того, чего не успел и не смог.

Леонид ЗОРИН

Ушел за последними гвардейцами

Я был готов к этому так же, как и все, кто виделся с ним последнее время.

Олег для меня всегда был очень близким человеком. Многие-много десятилетия мы были с ним откровенны, и хотя в последние годы не так часто встречались, это была очень хорошая дружба. А ценил я его всегда за умение и желание что-то сделать, совершить, преобразовать.

Всю свою жизнь он горел какими-то идеями, переворотами, революциями. Они не всегда были оправданы, иногда ошибочны, но всегда искренни и без малейшей корыстной заинтересованности. Он никогда не искал для себя лично чего-то, он хотел реформ вообще. Так, как Крутицкий у Островского пишет трактат “О вреде реформ вообще”, Олег, как полная противоположность Крутицкому, мог написать “О пользе реформ вообще”. Он считал, что реформы необходимы всегда, во всем, везде, в нем всегда жил зуд реформатора. А вспомнить хотя бы знаменитый съезд, когда ВТО преобразовали в СТД. Закоперищиком был Олег, его выступление и перевернуло все!

Творчески мы, к сожалению, встречались с ним только однажды, в “Живых и мертвых”. Его, как и меня, привел туда Константин Симонов. В любой, даже маленькой роли Олег всегда был так правдив!

Истории наших театров шли параллельно. Товстоговский БДТ и “Современник” возникли примерно в одно время, и оттого, что у нас были близкие взгляды, цели, намерения, оттого, что мы были близки по духу, у нас образовалась удивительная коллективная дружба. Приезжает на гастроли “Современник” — и всю ночь куролесим. Актеры приходили ко мне: были белые ночи, дивная погода, сидели на открытых окнах, шестой этаж, панорама города. Однажды в пять утра, помню, отправились на дачу. Я час-то тогда бывал в Москве (снялся в кино) и не представлял, как это — приехать и не прийти в “Современник” к ребятам, к Олегу. Это было такое золотое время! Вероятно, в старости каждый вспоминает какие-то свои годы, но те годы действительно были золотыми, потому что были освещены надеждами, верой в тот театр, который они строили у себя, на площади Маяковского, а мы у себя, на Фонтанке.

Помню, как они приехали поздравлять нас с каким-то юбилеем: Женя Евстигнеев, Кваашон, Олег играли сцену из “На дне”, и, конечно, не обошлось без бутылки водки прямо на сцене, на нарах — разливали, пили, приволокли туда практически нелюбимого Гогу Товстогова, посадили, налили в кружку, и он хлебал и был счастлив.

Потом, в Художественном театре, конечно, ему было очень тяжело. Но когда Олег решился и пришел туда, то с такой же страстью и энергией, с какой строил “Современник”, взялся реформировать МХАТ. Он очень хотел и очень старался сделать из этого театра новый театр — живой.

Он удачно выбрал время — умереть. Только что похоронил Ангелину Степанову — отправил с почестями на тот свет “последнего гвардейца наполеоновской армии” — и умер сам. Ушел с теми, кто взял его в театр, проводив их всех.

Кирилл ЛАВРОВ

Когда уходят Гулливеры

В нашем фильме “Сочинение ко Дню Победы” у Олега Николаевича Ефремова была третья по объему роль. Это бывший штурман Дмитрий Килловатов, который возглавляет общественный Фонд Армии и Спорта и пытается помочь ветеранам войны выживать. На долю Вячеслава Тихонова и Михаила Ульяновца выпали основные роли, именно их герои и ведут сюжет. Персонаж Олега Ефремова — олицетворение совести. Это обманутый, добрый и честный человек.

Как и с любым крупным артистом, с Ефремовым было легко и просто работать. Не было никаких побочных сложностей, не было с его стороны ни малейшего желания самоутвердиться, поруководить мною. Ефремов оказался очень доверчивым актером и человеком. Самое удивительное в том, что он делает на экране, — зоны молчания, паузы. Это самые дорогие лично для меня минуты и как для человека, и как для режиссера. Многие, не только я, всегда вспоминают в фильме “Три тополя на Плющихе” именно те кадры, когда герой Ефремова молчит. И в “Сочинении ко Дню Победы” особенно дороги те мгновения, когда он смотрит на выходящих из самолета пассажиров и тоже ничего не говорит. Олегу Ефремову это удавалось в силу того, что его внутренняя жизнь была необычайно интенсивной, в такой степени, что слова не являлись самым главным, определяющим.

Мне с актерами этого поколения жить, как зрителю, было хорошо. А работа с ними, их объединение с молодыми исполнителями по человечески стали очень важными. Уход этого поколения для нас — трагедия. Как писал Давид Самойлов, нету их — и все разрешено. Именно такие чувства переживаю и я в связи с уходом Олега Николаевича. Все те слова, которые я сейчас произношу, воспринимаются как что-то, напоминающее историю путешествия Гулливера, покидающего страну Лилипутию. Лилипуты точно так же вспоминали о Гулливере, когда он их покинул.

Сергей УРСУЛЯК